

# Содержание

Вот пришел  
великан...

7

Это мы,  
Господи!..

229

**Я** позвонил ей по телефону минуты за три до обеденного перерыва, и мы встретились на лестничной клетке своего этажа. Тогда я впервые взял ее под руку при всех сотрудниках — они шли в буфет на третий этаж — и повел по коридору к окну, где стояли два стула. “Ты сошел с ума! Что случилось? Ты сошел с ума!” — под колючий костяной цокот своих каблуков безгласно кричала она мне, глядя перед собой, и вид у нее был почти полуморочный и в то же время тайно-радостный. На подоконнике и стульях лежал и метельно шевелился слой тополиного пуха, и там я сказал ей, что распиналка над нами назначена на восемнадцать часов. Я был тогда в той степени отвращения к ближним своим, когда ты приходишь к решению, что жить можно лишь в том случае, если помнить о головокружительной бесконечности Вселенной, перед которой человеческая возня смешна и бессмысленна, — в этом случае ты не только обретаешь спокойствие безразличия, но становишься способным на отпор и дерзость. Я сказал ей, чтобы она не являлась на этот суд над нами и шла домой сейчас же.

— А ты сам? А ты сам куда?

Ей немного не хватало до обморока, и я вдруг будто со стороны увидел, как некрасива, мелка и тщедушна фигурка этой полуживой от страха женщины с седеющей головой на нервной тонкой шее, похожей на ручку контрабаса, и как смешно и бессмысленно всё то, что готовится нынче к шести часам вечера ей и мне.

— Вот пришел великан. Большой, большой великан. Такой смешной, смешной. Вот пришел он и упал, — сказал я ей. Вся нашу жизнь — нашу жизнь! — я говорил ей эти слова, когда ничего другого нельзя было придумать.

Я нарочно подождал, пока в коридоре раздались чьи-то шаги, и поцеловал ее в открытую шею, в самую ямку “контрабаса”. Там успела приютиться мохнатая тополиная пушинка, приставшая к моим губам, и она сняла ее с меня щепоткой холодных пальцев и пошла по коридору на выход. Я умышленно загляделся в окно, придав себе застигнутый вид. Я стоял и слушал шаги двоих — удаляющиеся перебойно-дробные ее, будто она готовилась и не решалась бежать, и размеренно-пристойную мужскую кладку каблуков того, кто нас “застукал”. Когда я оглянулся — мне пора было помочь ей там, — она уже разминулась с бедой, но шла вприкурку к глухой коридорной стене и руки держала по бокам в растопырку.

— Я позвоню тебе домой сразу же после этого! — сказал я ненужно громко вдогон ей, и она в самом деле тогда побежала, а я достал сигареты и закурил. Вениамин Григорьевич стоял у дверей своего кабинета, заложив руки назад, тесно составив курносые чистенькие ботинки, и как-то радостно-обретенно смотрел в конец коридора. Я стоял и ждал, когда он оглянется в мою сторону. Он хозяйски-благополучно кашлянул и, минуя меня взглядом, повернулся к двери. Тогда я окликнул его сам. Я спросил, не помнит ли он со времен сороковых годов папиросы под названием “Для знатоков”. Длинные такие, душистые. “Для знатоков”, — опять сказал я с этим ударением. Он подумал и ответил, что не увлекался.

— Это вы совершенно зря делали, товарищ Владыкин, — сказал я без всякого ожесточения. — Ведь только увлечение приводило людей к великим открытиям, украсившим нашу землю!

Он ничего не сказал и скрылся за дверью.

С Вениамином Григорьевичем мы впервые встретились год тому назад. До этого, после окончания Литинститута,

я долго плавал в Атлантике матросом на рыболовном траулере, — нужно было заработать деньги, чтоб сесть и написать книгу. Я всё сделал так, как хотел, — купил комнату и потрепанный “Москвич” первого выпуска, новую резиновую лодку и одинарную палатку с голубым марлевым окном. Свое первое вольное лето я жил и писал близ озер, — в наших местах их больше чем нужно. Осенью, чтобы помнить об озерах, я нарочно оставил лодку дома, возле секретера, где стояли удочки и спиннинг, и за зиму резина пересохла и расклеилась. Я обнаружил это весной, когда повесть была закончена и жить стало нечем. На озере, если оно находилось где-нибудь у чертей на куличках, ощущение мира обновлялось, и возникало снова — в который раз! — пресловутое “а вдруг?”.

Лодку я клеивал во дворе, утром, пока стол-самоделка пустовал без козлятников. Уже истомно пахли почки городских лип, верещали скворцы, и теплый ветер подувал с разных направлений, кружа подушечный пух, обрывки газет, пыль и сор — прах нашего большого кооперативного дома. Я клеил и видел, как из подъезда вышла женщина с курицей и ножом в руках. Следом за ней шел ее муж. Это были симпатичные люди — пожилые, молчаливые и опрятные: в свое время они вернулись с Севера, и в доме и во дворе не было их видно и слышно. Супруги оглядели двор, о чем-то пошептались, и я всё понял и переместился, чтобы оказаться спиной к ним. Удивительное это дело: тот, кто вернулся оттуда, не в состоянии потом зарезать курицу. “Сейчас они подойдут и попросят, — подумал я. — Но, может, постесняются?”

— Вы не могли бы вот ее, а? — сипло спросила женщина, и я подумал, что курицу они покупали вдвоем и, пока плелись с базара, успели привыкнуть к ней и полюбить.

Когда всё было кончено и золотистые курицыны глаза померкли, а кровь иссякла, впитавшись в пыль, женщина, не взглянув на меня, пошла прочь той напряженной непреклонной походкой, какой уходят люди от темных и злых мест. Я принялся за прерванную работу, но лодка не клеи-

лась; хотелось скорей очутиться на каком-нибудь озере, и в то же время я думал над тайной крови: почему ее нельзя отворять, особенно при солнце... Не знаю, как это связалось тогда с моим настроением, но я тихонько засвистел мелодию старинной песни про чайку, убитую безвестным охотником. Когда-то, давно, эту песню пела моя мать. Она выводила ее почти на крике, иступленно и тоскующе.

— Хорошая песня! — убежденно и задумчиво проговорили у меня за плечом. Это сказал муж женщины, унесшей зарезанную курицу. Я понимал, что ему некуда деваться, пока курицу не распотрошат, и подвинулся, освобождая место на скамейке. Он присел, отказался от папироски и сказал снова:

— Хорошая была песня...

— Конечно, — сказал я, невольно раздражаясь на что-то. — Хотя русский человек редко пел от добра, но в этом случае он бывал истинным творцом. Вы не находите?

— Какое там добро! — с какой-то смиренной кротостью сказал муж, а я надеялся, что он не согласится.

— Я слышал эту песню раза два или три. В детстве, — сказал я неизвестно зачем.

— А я однажды, — не сразу сказал муж. Он глядел куда-то в поднебесье. Глаза у него были жидко-голубые, как вода, и по левой щеке от ноздри к заушью пролегал хорошо пробритый шрам. Под столом и у нас под ногами бродили разжиревшие голуби, потерявшие обличье вольных птиц. Я шугнул их, а муж неодобрительно взглянул на меня и хмыкнул, — голубей ведь положено любить, раз мы боремся за мир во всём мире. Ему, как видно, хотелось потолковать про убитую чайку, потому что через минуту он сказал опять:

— Да, русская была та песня!

Голуби снова слетелись к нашим ногам, и я опять шугнул на них, а муж, глядя в поднебесье, сказал:

— Я тогда стоял часовым, а на заре перед самым расстрелом он, значит, подозвал меня и попросил дозволения спеть.

— А кто он был? — спросил я.

— Белобандит наш, поручик, — тоном охотника, когда тот рассказывает о набежавшем на него зайце, сказал муж.

— Вы дозволили?

— Нет, сам я не имел прав... Тогда он, между прочим, дал мне портсигар и попросил покликать комиссара.

— Вы позвали? — спросил я.

— Другие это сделали. Сам я не мог. Он же в непригодном помещении содержался. В амбаре.

— Удрать мог? — предположил я.

— Смело! — сказал муж.

— Что ж комиссар?

— Не разрешил сразу.

— А как поручик просил его?

— По-хорошему. Дозволь, дескать, перед смертью спеть мою любимую...

— И чем кончилось? — спросил я.

— Спел, — охотничьим тоном сказал муж. — Отрядные наши потребовали у комиссара, чтоб спел... Он, помню, пошел навстречу и согласился, но чтоб в амбаре, значит, а поручик хотел на воле. Ну мы уговорили комиссара, пускай, мол, на месте, в степи... И там он спел. Ох и спел же! Встал, понимаете, к восходу, обратил глаза на солнце и — до конца!..

Я свернул лодку, вогнал ее в мешок и сказал, что эти поручики умели, черт их возьми, красиво умирать.

— А что им оставалось? — усмехнулся муж.

— Конечно, — сказал я. — Но странно, что вы до сих пор помните это... Песня мешает?

Он вприщур посмотрел на меня и поднялся со скамьи.

— Песня, дорогой товарищ, никогда не мешала жизни. Вот если наоборот — дело другое! Поняли?

Сказал и ушел.

А неделю спустя я понес в местное издательство свою повесть. Она была отпечатана на старой канцелярской машинке и на плохой серой бумаге, и чтобы скрасить этот внешний недостаток рукописи, я переплел ее за трояк в отличные дерматиновые корки, а название “Куда летят альбатросы” и свое

имя “Антон Кержун” наклеил заглавными буквами, подобранными и вырезанными из “Огонька”. Когда я в свое время нанимался в матросы, а затем долго был им, то меня всё время не покидало тайное сознание своей маленькой исключительности, — как-никак, за плечами у меня был заочный Литературный институт и та цель, ради которой я добровольно, а не вынужденно оказался среди людей... ну, скажем, не всегда умеющих быть джентльменами. Я постоянно помнил о своей будущей книге, о новых интересных знакомствах и немножко о гонораре. Может, оттого слово “издательство” звучало для меня чуть-чуть возвышенно и оторапливающе, и я робел перед ним.

Издательство размещалось на шестом этаже. В лифте перевозили куда-то железные корзинки с бутылками кефира, и я пошел наверх пешком. То, что каменные ступени лестницы были разбиты, грязны и заплеваны, а стены и проемы окон выкрашены в бездарный свинцово-коричневый колер, внушило мне странным образом уверенность, что повесть свою я написал хорошо. На шестом этаже это чувство во мне окрепло еще больше, — коридор тут был удручающе узок, сумрачен и бесконечен, и по левой его стороне густо темнели низенькие одностворные двери с табличками о времени приема авторов, и возле притолок дверей стояли жестяные урны-пепельницы, как в любой порядочной конторе. Я немного побродил по коридору, а потом постучал в дверь комнаты, что была рядом с туалетной, — это соседство кабинетов тоже почему-то ободряло меня. Комната оказалась величиной с могилу, вырытую в негожую осеннюю пору, и в ней каким-то чудом умещались три стола — два вдоль стены, а третий барьером между ними. На нем лежал какой-то выгоревший бумажный хлам, а за пристенными столами сидели две женщины: ближняя ко мне — толстенькая и беленькая пышка, с бесстрастными фиолетовыми губами, собранными в трубочку, — сосала, наверное, конфету, а дальняя — цыганово-смуглая, стриженная под пацана. Я направился к ней потому, что она выжидательно смотрела мне под ноги, и по-

тому, что над ее головой к стене была пришпилена фотография Хемингуэя. Я еще не успел миновать барьерный стол, когда она спросила, что у меня, и я издала протянул ей рукопись и совершенно глупо и неожиданно для себя поклонился. Тогда выдалась затяжная пауза, — она удивленно покачала на руках повесть, потом поцарапала на ней ногтем заглавную букву моей фамилии.

— Намерены переиздать? Вера, обрати внимание, какой роскошный переплет!

На меня она не смотрела. Я не видел повода для такого вопроса и сказал, что повесть оригинальная.

— Вот как?

Она опять как-то недоуменно и капризно, как школьница кляксу в своей тетради, поцарапала букву “К”, затем сказала, придерживая над ртом большой цветной карандаш:

— Понятно. И куда они у вас летят?

Если бы у меня спросили это на траулере, а женщин у нас там не было, я б, наверно, с ходу и всего лишь двумя словами ответил, куда летят мои альбатросы, но тут был не траулер, и я вежливо сказал, что альбатросы обычно летят за кораблем.

— Неужели? — не отрывая глаз от чьей-то несчастной, как мне подумалось, рукописи, шепеляво сказала пышка. — Что их приманивает?

— В своей повести я объясняю это достаточно ясно, — сказал я. Пышка вскинула на меня круглые печальные глаза и сказала лениво, но заинтересованно:

— Даже объясняете? Это потрясно!

Она засмеялась, приглашающе взглянув на ту, вторую, и я увидел на ее малиновом языке льдистый обсосок дешевого леденца. Тут был не траулер, и я молчал. Я стоял в тесном закутке возле барьерного стола, и острый угол его крышки упирался мне в брюки так, что я все время помнил о возможной оплошности с пуговицами, и от этого у меня давно намокла рубашка под мышками.

— Видите ли, на ближайшие два года у нас уже сверстан план издания оригинальной литературы, поэтому...



Это сказала поклонница Хемингуэя, возвращая мне рукопись, и я принял ее зачем-то обеими руками и опять неожиданно для себя поклонился. Я пошел к дверям раскачной корабельной походкой, чтоб казаться независимей, и там на пороге столкнулся с хозяином курицы, которую я зарезал пару недель тому назад, когда клеил лодку. Он узнал меня и отступил в коридор, потому что дверь открыл я первый, и там мы поздоровались, и я закурил. “Муж”, как я мысленно называл его, отказался от сигареты и ради приличия спросил, что у меня хорошего. На нем был старомодный плечистый пиджак с черными молескиновыми нарукавниками, и я решил, что он служит в бухгалтерии. Я сказал ему — в шутку, понятно, — что пытался ограбить издательскую кассу, да вот не вышло.

— Как то есть ограбить?

Он спросил это вполне серьезно и немного растерянно, и мне понадобилось объяснить ему, что я имел в виду.

— Это неправильно, — сказал он, но я не понял что. — Дайте-ка...

Он взял у меня рукопись и уважительно оглядел и погладил переплет. Наверное, ему понравился и заголовок повести, — он дважды прочел его шепотом, и “альбатросы” получились у него “альбатросами”. Мы стояли у двери, в которой столкнулись, и я всё время ждал, что за нею вот-вот раздастся пышкин смех.

— Тема современная? — спросил “муж”.

Я молча подтвердил.

— Адрес свой и всё такое указали?

— Да-да, — сказал я, — всё указано... Вы хотите передать кому-нибудь?

— Да нет, зачем... Посмотрим тут сами, — веско сказал он, — зайдите через месяц ко мне прямо...

Простился я с ним не в меру почтительно. В нем тогда всё: и шрам на лице, и детски наивная голубизна глаз, и даже нелепые нарукавники — приобрело для меня какое-то — хоть и не до конца постигнутое — обещающее значение,